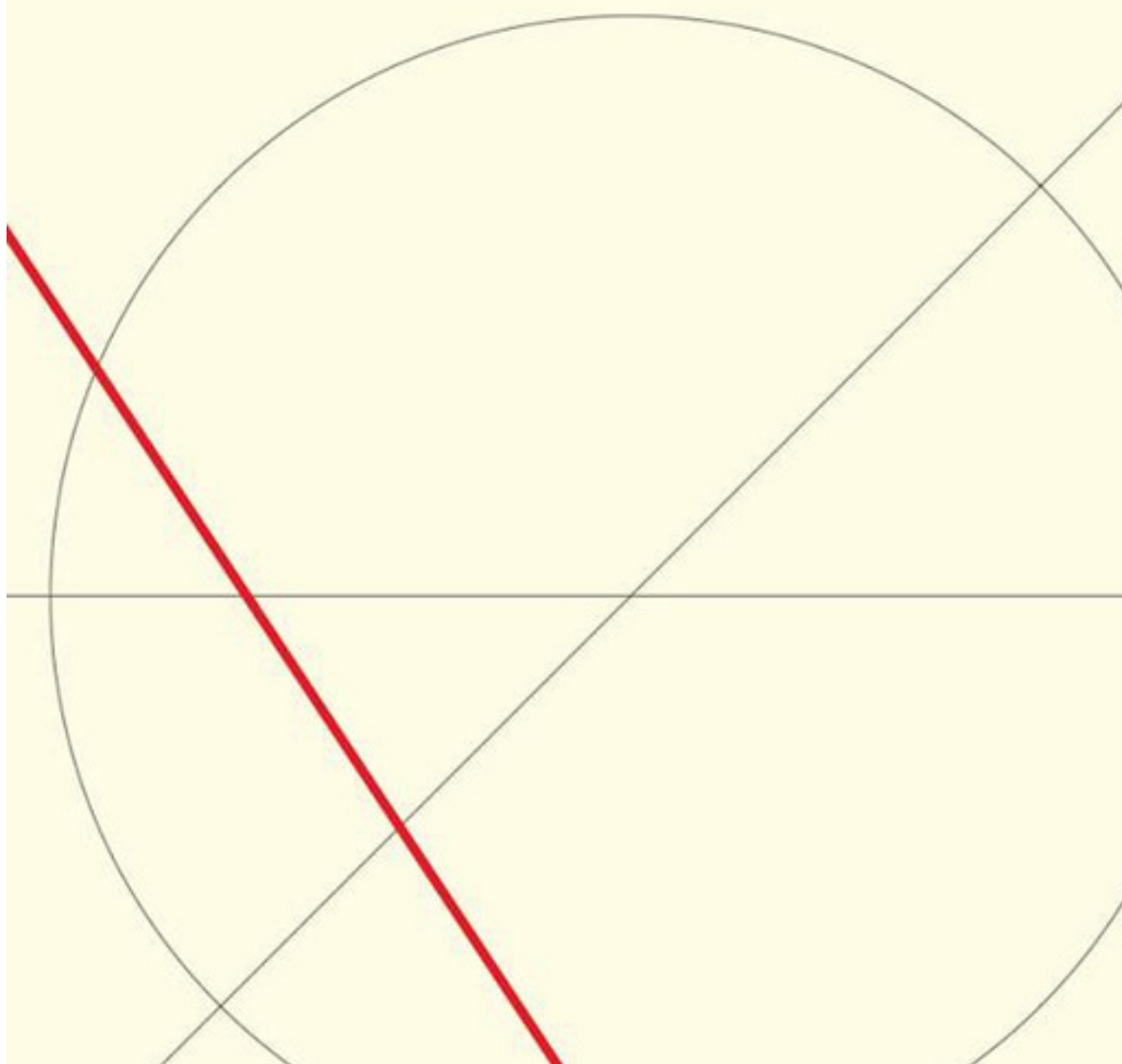


ХАННА АРЕНДТ О НАСИЛИИ



Ханна Арендт О насилии

*Текст книги предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9013590
О насилии: Новое издательство; Москва; 2014
ISBN 978-5-98379-178-7*

Аннотация

Книга одного из крупнейших политических мыслителей XX века Ханны Арендт «О насилии» – компактный очерк политической теории, написанный по горячим следам студенческих протестов 1968 года. Книга радикально переосмысляет феномен насилия, традиционно считавшегося если не основой власти, то одним из основных способов ее осуществления, – по мнению Арендт, если считать властью легитимную форму господства, присущую любой группе согласованно действующих людей, насилие оказывается ее полной противоположностью – его применение всегда является следствием слабости власти и продолжает ее разрушать.

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	22
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Ханна Арендт О насилии

Hannah Arendt
On Violence

Published by special arrangement with Houghton Mifflin Harcourt

© 1969, 1970 by Hannah Arendt

© Новое издательство, 2014

Моему другу Мэри

Глава первая

Поводом к этим размышлениям стали события и дискуссии последних нескольких лет, рассмотренные в контексте всего XX века, который действительно оказался, как предсказывал Ленин, веком войн и революций, а потому и веком насилия, которое принято считать их общим знаменателем. В текущей ситуации есть, однако, еще один фактор, который, хотя никем и не был предсказан, имеет по крайней мере не меньшее значение. Техническая эволюция орудий насилия достигла сейчас такой стадии, что уже невозможно представить какую бы то ни было политическую цель, которая соответствовала бы их разрушительному потенциалу или оправдывала бы их практическое применение в вооруженном конфликте. Поэтому война – с незапамятных времен безжалостный верховный арбитр международных споров – утратила большую часть эффективности и почти весь свой блеск. «Апокалиптическая» шахматная партия между сверхдержавами, то есть между государствами, действующими на высшей ступени развития нашей цивилизации, ведется в соответствии с правилом «кто бы ни выиграл, конец обоим»¹; это игра, лишенная всякого сходства с любыми прежними военными играми. Ее «рациональной» целью является устрашение, а не победа, и поскольку гонка вооружений уже не является подготовкой к войне, то теперь она может быть оправдана лишь на том основании, что наибольшее устрашение – это лучшая гарантия мира. На вопрос, каким образом мы когда-нибудь сумеем выпутаться из очевидного безумия этой ситуации, ответа нет.

Поскольку насилие – в отличие от власти (*power*), силы (*force*) или мощи (*strength*) – всегда нуждается в *орудиях* (как давно указывал Энгельс²), то технологическая революция, революция в изготовлении орудий, особенно заметно проявилась в военном деле. Сама сущность насильственного действия управляется категорией «средство – цель», а применительно к человеческим делам основное свойство этой категории – это риск, что цель окажется подчинена средствам, которые она оправдывает и которые требуются для ее достижения. А поскольку конечная цель человеческого действия в отличие от конечного продукта производства не поддается надежному предвидению, то средства, используемые для достижения политических целей, обычно имеют большее влияние на будущее мира, чем предполагаемые цели.

Контролю деятелей не подвластны результаты любых человеческих действий, но насилие таит в себе еще и дополнительный элемент произвольности; нигде Фортуна, т. е. удача или неудача, не играет столь судьбоносную роль в человеческих делах, как на поле битвы, и это вторжение нежданного не исчезнет, если его назвать «случайным событием» и счесть сомнительным с научной точки зрения; равно как нельзя его устранить с помощью моделирования, [разработки] сценариев, теории игр и т. п. В таких вопросах не бывает достоверности, даже финальной достоверности взаимного уничтожения при таких-то расчетных условиях. Сам тот факт, что те, кто совершенствует средства уничтожения, наконец достигли такого уровня технического развития, когда благодаря находящимся у них в распоряжении средствам, сама их цель, а именно война, оказалась на грани полного исчезновения³, – сам этот факт служит ироническим напоминанием о вездесущей непредсказуемости, с которой

¹ Wheeler H. The Strategic Calculators // Calder N. Unless Peace Comes. New York: Viking, 1968. P. 109.

² Engels F. Herrn Eugen Duhrings Umwälzung der Wissenschaft [1878]. Part II, ch. 3 [Энгельс Ф. Анти-Дюринг: Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом // Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений: В 50 т. М., 1961. Т. 20. С. 170–178].

³ Как указывает генерал Андре Бофр в «Полях сражений в 1980-х», только «в частях света, еще не покрытых ядерным устрашением», война еще возможна, и даже эта «обычная война», несмотря на свои ужасы, уже фактически ограничена постоянной угрозой эскалации в ядерную войну (цит. по: Calder N. Op. cit. P. 3).

мы сталкиваемся как только приближаемся к сфере насилия. Главная причина, по которой война нас все еще не покинула, – не тайное стремление к смерти, присущее человеческому виду, не неукротимый инстинкт агрессии, не (последний и более правдоподобный ответ) серьезные экономические и социальные опасности, связанные с разоружением⁴, а тот простой факт, что никакой замены этому окончательному арбитру в международных делах на политической сцене до сих пор нет. Не был ли прав Гоббс, когда говорил: «Договоры без меча – это просто слова?»

И маловероятно, что такая замена появится, до тех пор пока отождествляются национальная независимость, т. е. свобода от иностранного господства (*rule*), и государственный суверенитет, т. е. претензия на ничем не сдержанную и неограниченную власть (*power*) в международных делах. (Соединенные Штаты Америки входят в небольшое число стран, где надлежащее разделение независимости и суверенитета возможно по крайней мере теоретически, поскольку такое разделение не будет угрожать самим основам американской республики. Согласно американской конституции, международные договоры составляют неотъемлемую часть федерального законодательства и – как заметил в 1793 году судья Джеймс Уилсон – «конституции Соединенных Штатов понятие суверенитета совершенно неведомо». Но времена столь трезвомыслящего и горделивого отстранения от традиционного языка и концептуальной политической схемы европейского национального государства давно прошли; наследие Американской революции забыто, и американское правительство к добру или к худу сделалось наследником Европы, словно унаследовав свое родовое достояние, не ведая, увы, о том факте, что упадку европейской мощи предшествовало и сопутствовало политическое банкротство – банкротство национального государства и его концепции суверенитета.) То, что война до сих пор остается *ultima ratio* [последним доводом], продолжением политики насильственными средствами в отношениях между неразвитыми странами, не может служить аргументом против ее устарелости, и не может служить утешением тот факт, что только малые страны без ядерного и биологического оружия по-прежнему могут позволить себе воевать. Ни для кого не секрет, что пресловутое «случайное событие» [которое станет поводом к началу ядерной войны] скорее всего произойдет именно в тех частях планеты, где древняя максима «у победы нет альтернативы» по-прежнему близка к истине.

При таких обстоятельствах действительно мало что может вызвать больший страх, чем неуклонно растущий в последние десятилетия авторитет научно-ориентированных экспертов в правительственных совещаниях. Беда не в том, что они достаточно хладнокровны, чтобы «помыслить немислимое», но в том, что они не мыслят. Вместо того чтобы заниматься этой старомодной некомпьютеризируемой деятельностью, они рассчитывают последствия неких гипотетически возможных конфигураций, не имея, однако, возможности проверить свои гипотезы на реальных фактах. Логический изъян в этих гипотетических сценариях будущего всегда один и тот же: то, что вначале предстает как гипотеза – с подразумеваемыми альтернативами или без оных, в зависимости от степени изощренности сценария, – мгновенно, обычно после нескольких абзацев, превращается в «факт», который затем порождает целую цепочку таких же не-фактов, и в результате чисто спекулятивный характер всего построения оказывается забыт. Незачем говорить, что это не наука, а лженаука – или, если воспользоваться определением Ноама Хомского, «отчаянная попытка социальных и бихе-

⁴ «Отчет с железной горы» (Report from Iron Mountain. New York, 1967) – сатира на способ мышления RAND Corporation и других аналитических центров (*think tanks*); ее «робкая попытка заглянуть за край мирного времени», возможно, ближе к реальности, чем большинство «серьезных» исследований. Ее главный тезис – что война настолько принципиальна для функционирования нашего общества, что мы не рискуем ее отменить, если только не отыщем еще более человекоубийственных способов решать наши проблемы, – шокирует лишь тех, кто забыл, что кризис с безработицей в период Великой депрессии был разрешен только с началом Второй мировой войны, или тех, кому удобнее не замечать или преуменьшать масштабы современной скрытой безработицы.

виористских наук имитировать внешние признаки наук, действительно обладающих значительным интеллектуальным содержанием». И (как недавно указал Ричард Н. Гудвин в обзорной статье, обладавшей редким качеством – умением вскрывать «бессознательный юмор», характерный для многих напыщенных лженаучных теорий) самым очевидным и «самым глубоким возражением против этой разновидности стратегической теории служит не ее малая полезность, а ее опасность, так как она может убедить нас в том, что у нас есть понимание событий и контроль над их ходом, которых у нас на самом деле нет»⁵.

События – это, по определению, такие происшествия (*occurrences*), которые прерывают рутинные процессы и рутинные процедуры; только в мире, где никогда не происходит ничего существенного, могут сбыться видения футурологов. Предсказания будущего – всегда лишь проекции нынешних автоматических процессов и процедур, т. е. тех происшествий, которые предположительно произойдут, если люди не будут действовать и если не случится ничего непредвиденного; каждое действие, к добру или к худу, и каждая случайность (*accident*) неизбежно разрушают всю схему, в рамках которой существует предсказание и внутри которой оно находит свои данные. (К счастью, по-прежнему верно сделанное мимоходом замечание Прудона:

«плодовитость непредвиденного далеко превосходит предусмотрительность государственного деятеля». Еще с большей очевидностью она превосходит расчеты эксперта.) Называть такие непредвиденные, непредсказанные и непредсказуемые происшествия (*happenings*) «случайными событиями» (*random events*) или «последними спазмами прошлого», обрекая их на незначительность или на пресловутую «свалку истории», – это самый старинный прием предсказательского ремесла; прием этот, несомненно, помогает теоретической стройности, но лишь ценой дальнейшего удаления теории от реальности. Опасность состоит не только в правдоподобии этих теорий, поскольку они действительно берут свои данные из распознаваемых текущих тенденций, но и в том, что благодаря своей внутренней связности они оказывают гипнотический эффект – они усыпляют наш здравый смысл, который есть не что иное, как наш ментальный орган, предназначенный воспринимать и понимать реальность и фактичность и взаимодействовать с ними.

Никто из думавших об истории и политике не может не сознавать огромную роль, которую насилие всегда играло в человеческих делах, и на первый взгляд даже удивительно, что насилие так редко делалось предметом особого рассмотрения⁶. (В последнем издании энциклопедии социальных наук «насилие» даже не заслужило отдельной статьи.) Из этого видно, насколько насилие и его произвольность принимались за данность и потому оставались в пренебрежении; никто не изучает и не ставит под вопрос то, что всем очевидно. Те же, кто не видел в человеческих делах ничего кроме насилия и был убежден, что они «всегда случайны, несерьезны, не точны» (Ренан) или что Бог всегда на стороне больших батальонов, ничего сверх этого ни о насилии, ни об истории уже сказать не могли. Всякий, кто в хрониках прошлого искал хоть какой-то смысл, был чуть ли не вынужден рассматривать насилие как маргинальное явление. Будь то Клаузевиц, назвавший войну «продолжением политики другими средствами», или Энгельс, назвавший насилие «ускорителем экономического развития»⁷, акцент делался на политической или экономической непрерывности, на непрерывности процесса, который остается детерминирован тем, что предшествовало акту насилия. Поэтому исследователи международных отношений до недавних пор считали аксиомой, что «военное решение, не соответствующее глубинным культурным источникам национальной

⁵ Цит. по: Chomsky N. American Power and the New Mandarines. New York: Pantheon Books, 1969; Goodwin R. Review of Thomas C. Schelling «Arms and Influence» (Yale, 1966) //The New Yorker. 1968. February 17.

⁶ Разумеется, существует обширная литература о войнах и видах войны, но она посвящена орудиям насилия, а не насилию как таковому.

⁷ Engels F. Op. cit. Part II, ch.4 [Энгельс Ф. Указ. соч. С. 179–189].

мощи, не может быть стабильным», или что «всякий раз, когда властная структура страны противоречит ее экономическому развитию», терпит поражение политическая власть с ее средствами насилия⁸.

Сегодня все эти старые истины об отношениях между войной и политикой или о насилии и власти стали неприменимы. За Второй мировой войной последовал не мир, а холодная война и создание военно-промышленно-профсоюзного комплекса. Сегодня намного правдоподобнее, чем принадлежащие XIX веку формулы Энгельса или Клаузевица, звучат слова о «приоритете военного потенциала как главной структурирующей силы в обществе» или утверждения, что «экономические системы, политические философии и правовые системы обслуживают и расширяют военную систему, но не наоборот», или выводы, что «война сама по себе является базовой социальной системой, внутри которой конфликтуют или сотрудничают вторичные способы социальной организации». Еще более убедительным, чем простая инверсия, предложенная анонимным автором «Отчета с железной горы», – что уже не война является «продолжением дипломатии, или политики, или достижения экономических целей», а мир есть продолжение войны другими средствами, – еще более убедительным является фактическое развитие военных технологий. По словам русского физика Сахарова, «термоядерная война не может рассматриваться как продолжение политики военными средствами (по формуле Клаузевица), а является средством всемирного самоуничтожения»⁹.

Более того, мы знаем, что «небольшое количество оружия может за несколько мгновений уничтожить все прочие источники национальной власти»¹⁰, что уже изобретено биологическое оружие, с помощью которого «небольшая группа индивидов... сможет опрокинуть стратегическое равновесие» и которое достаточно дешево и потому может производиться в «странах, не способных развить ядерные ударные силы»¹¹ что «через несколько лет» солдаты-роботы «полностью вытеснят солдат-людей»¹² и что наконец в обычной войне бедные страны намного менее уязвимы, нежели великие державы, именно потому, что они «неразвиты», и потому, что в партизанских войнах техническое превосходство может «оказаться не сильным, а слабым местом»¹³. В сумме все эти неприятные новшества приводят к полному перевороту в отношениях между властью и насилием, предвещаая в будущем переворот в отношениях между малыми и большими державами. Объем насилия в распоряжении конкретной страны скоро, возможно, уже не будет надежным показателем силы этой страны или надежной гарантией против разрушения со стороны существенно меньшей и более слабой державы. И здесь есть зловещее сходство с одной из древнейших интуиций политической науки – что власть (*power*) нельзя измерять в категориях богатства, что изобилие богатства может ослаблять власть, что богачи особенно опасны для власти и благосостояния республик. Эта интуиция хотя и была забыта, но не утратила своей значимости, особенно теперь, когда ее истина приобрела дополнительную значимость, став применима еще и к арсеналу насилия.

Чем более сомнительным и ненадежным инструментом становится насилие в международных отношениях, тем больше престижа и привлекательности оно приобретает во внутренних делах, особенно в вопросе революции. Интенсивная марксистская риторика новых левых совпадает с постоянным ростом совершенно немарксистской веры, провоз-

⁸ Wheeler H. The Strategic Calculators // Calder N. Op. cit. P. 107; Engels F. Op. cit.

⁹ Sakharov A. D. Progress, Coexistence, and Intellectual Freedom. New York, 1968. P. 36 [Сахаров А. Д. Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе // Сахаров А. Д. Тревога и надежда. М., 2006. Т. I. С. 77–78].

¹⁰ Wheeler H. Op. cit.

¹¹ Calder N. The New Weapons // Calder N. Op. cit. P. 239.

¹² Thring M. W. Robots on the March // Ibid. P. 169.

¹³ Dedijer V. The Poor Man's Power // Ibid. P. 29.

глашенной Мао Цзэдуном, – веры в то, что «власть растет из дула винтовки». Разумеется, Маркс сознавал роль насилия в истории, но для него эта роль была второстепенна; не насилие, а противоречия внутри старого общества приводили это общество к гибели. Вспышки насилия предшествовали возникновению нового общества, но не были его причиной, и эти вспышки Маркс сравнивал с родовыми муками, которые предшествуют событию рождения, но конечно же его причиной не служат. В том же духе он рассматривал и государство – оно является инструментом насилия на службе правящего класса, но реальная власть правящего класса заключается не в насилии и не на насилии держится. Она определяется той ролью, которую этот правящий класс играет в обществе, или, точнее, его ролью в процессе производства.

Часто (иногда с сожалением) отмечалось, что под влиянием учения Маркса левое революционное движение отказалось от использования насильственных средств. «Диктатура пролетариата», в текстах Маркса откровенно репрессивная, должна была наступить лишь после революции и, подобно римской диктатуре, была рассчитана на строго ограниченный срок. Политические убийства, за исключением нескольких актов индивидуального террора, осуществленных небольшими группами анархистов, были прерогативой правых, тогда как организованные вооруженные восстания оставались специальностью военных. Левые пребывали в убеждении, «что всякие заговоры не только бесполезны, но и вредны. Они очень хорошо знают, что революции нельзя делать предумышленно и по произволу и что революции всегда и везде являлись необходимым следствием обстоятельств, которые совершенно не зависели от воли и руководства отдельных партий и целых классов»¹⁴.

Правда, в области теории было несколько исключений. Жорж Сорель, который в начале века попытался соединить марксизм с бергсоновской философией жизни (результат, хотя и на гораздо более низком уровне интеллектуальной изощренности, странно напоминает нынешний сартровский сплав экзистенциализма и марксизма), размышлял о классовой борьбе в военных категориях; однако в итоге он не предложил ничего более насильственного, чем знаменитый миф о всеобщей забастовке – сегодня об этой форме действия мы подумали бы как о принадлежащей к арсеналу ненасильственной политики. Но пятьдесят лет назад даже это скромное предложение принесло ему репутацию фашиста, несмотря на его энтузиастическое одобрение Ленина и русской революции. Сартр, который в предисловии к «Проклятьем заклейменным» Фанона заходит в прославлении насилия гораздо дальше, чем Сорель в своих знаменитых «Размышлениях о насилии», и дальше, чем сам Фанон, тезис которого Сартр хочет довести до логического вывода, по-прежнему говорит о «фашистских высказываниях Сореля». Отсюда видно, до какой степени Сартр не осознает свое фундаментальное расхождение с Марксом по вопросу насилия, особенно когда он утверждает, что «неукротимое насилие... это человек, заново творящий себя», что посредством «безумной ярости» «проклятьем заклейменные» могут «стать людьми». Это мнение тем более примечательно, что сама идея человека, творящего себя, строго принадлежит традиции гегельянского и марксистского мышления; это самый фундамент всего левого гуманизма. Но, согласно Гегелю, человек «производит» себя посредством мышления¹⁵, тогда как для Маркса, который перевернул «идеализм» Гегеля вверх ногами, эту функцию выполняет труд – человеческая форма метаболизма с природой. И хотя можно было бы утверждать, что все представления о человеке, творящем себя, объединяет бунт против самой фактичности человеческого удела (нет ничего более очевидного, чем то, что человек, как член вида или

¹⁴ Это раннее замечание Энгельса из рукописи 1847 года я цитирую по: *Barion J. Hegel und die marxistische Staatslehre*. Bonn, 1963 [Энгельс Ф. Принципы коммунизма // Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений: В 50 т. М., 1955. Т. 4. С. 331].

¹⁵ Весьма показательно, что Гегель в этом контексте говорит о *Sichselbstproduzieren* [самопроизводстве]: *Hegel G. W. F. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie* / Hrsg. von J. Hoffmeister. Leipzig, 1938. P. 114 [Гегель Г. Ф. В. Лекции по истории философии. СПб., 1994. Кн. 2. С. 158].

индивид, *не* обязан своим существованием самому себе) и что поэтому то, что объединяет Сартра, Маркса и Гегеля, существенней, чем [различие] тех конкретных занятий, посредством которых этот не-факт [творение человеком самого себя] предположительно должен произойти, все же нельзя отрицать, что такие сущностно мирные занятия, как мышление и труд, от любых дел насилия отделяет настоящая пропасть. «Застрелить европейца – значит поймать сразу двух зайцев... в итоге остаются мертвый человек и свободный человек», говорит Сартр в предисловии. Такой фразы Маркс никогда бы не написал¹⁶.

Я процитировала Сартра, чтобы показать, что этот новый поворот к насилию в мышлении революционеров может остаться незамеченным даже для одного из их самых показательных и внятных представителей¹⁷, и это тем более примечательно, что речь очевидным образом не идет об операциях с абстрактным понятием, находящемся в ведении истории идей. (Перевернув «идеалистическую» идею (*concept*) мышления, можно прийти к материалистической идее (*concept*) труда; но невозможно прийти к понятию насилия.) Несомненно, у этого поворота есть своя собственная логика, но она проистекает из опыта, а любому из предыдущих поколений этот опыт был совершенно неведом.

¹⁶ Профессор Б. К. Парек (Университет Халла, Англия) любезно обратил мое внимание на следующий пассаж в разделе о Фейербахе в «Немецкой идеологии» (1846) (об этой книге Энгельс позже писал: «Законченная часть... лишь доказывает, насколько неполным в то время было наше знание экономической истории»): «Как для массового порождения этого коммунистического сознания, так и для достижения самой цели необходимо массовое изменение людей (*des Menschen*), которое возможно только в практическом движении, *в революции*; следовательно, революция необходима не только потому, что никаким иным способом невозможно свергнуть господствующий класс, но и потому, что *свергающий* класс только в революции может сбросить с себя всю старую мерзость и стать способным создать новую основу общества» (цит. по изд.: Marx K., Engels F. German Ideology / Ed. with an introduction by R. Pascal. New York, 1960. P. xv, 69 [Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений: В 50 т. М., 1955. Т. 3. С. 70]). Даже в этих, так сказать, домарксистских, высказываниях различие между позициями Маркса и Сартра очевидно. Маркс говорит о «массовом изменении людей» и о «массовом порождении коммунистического сознания», а не об освобождении индивида благодаря изолированному акту насилия (немецкий текст см.: Marx K., Engels F. Gesamtausgabe. I. Abteilung. Berlin, 1932. Vol. 5. S. 59 ff.).

¹⁷ Бессознательное отклонение новых левых от марксизма не прошло незамеченным. См. прежде всего недавние комментарии о студенческом движении – Леонардо Шапиро (New York Review of Books. 1968. December 5) и Раймона Арона (Aron R. La Révolution Introuvable. Paris: Fayard, 1968). Оба усматривают в опоре на насилие откат либо к домарксову утопическому социализму (Арон), либо к русскому анархизму Нечаева и Бакунина (Шапиро), которые «много писали о важности насилия как фактора единения, как связующей силы в обществе или группе, за сто лет до того, как эти же идеи прозвучали в работах Жана-Поля Сартра и Франца Фанона». Арон пишет в том же ключе: «Певцы майской революции думают, что преодолели марксизм... они забыли о цел ом столетии исторического развития» (с. 14). Для немарксиста упрек в такой регрессии вряд ли был бы серьезным аргументом; но для Сартра, который, например, пишет: «Так называемое „преодоление“ марксизма в худшем случае может быть лишь возвратом к домарксистскому мышлению, в лучшем – открытием мысли, уже содержащейся в той философии, которую мнят преодоленной» (Sartre J. – P. Question de Méthode // Sartre J. – P. Critique de la raison dialectique. Paris: Gallimard, 1960. P. 17 [Сартр Ж. – П. Проблемы метода. М., 2008. С. 12]), это будет очень серьезным обвинением. (Примечательно, что Сартр и Арон, хотя и являясь политическими оппонентами, совершенно согласны по этому пункту. Это показывает, до какой степени гегелевская концепция истории определяет мышление как марксистов, так и немарксистов.) Сам Сартр в «Критике диалектического разума» дает своему обращению к насилию гегелевское объяснение. Его исходная точка в том, что «нужда и нехватка предопределили манихейский базис действия и морали» в современной истории, «истина которой основана на нехватке и должна проявиться в антагонизме между классами». Агрессия – это следствие нужды в мире, где «на всех всего не хватает». В таких условиях насилие перестает быть маргинальным феноменом. «Насилие и противонасилие, возможно, контингентны, но это контингентные необходимости, и императивным следствием любой попытки уничтожить эту бесчеловечность будет то, что, уничтожая в противнике бесчеловечность противочеловека, я уничтожаю в нем человечность человека и реализую в себе его бесчеловечность. Когда я убиваю, пытаю, порабащаю, моя цель – подавить его свободу, т. е. чуждую излишнюю силу». Моделью для ситуации, в которой «каждый излишен, избыточен для другого», служит автобусная очередь, члены которой очевидно «не замечают друг в друге ничего, кроме места в числовом ряду». Сартр заключает: «Они взаимно отрицают всякую связь между внутренними мирами друг друга». А из этого следует, что практика – это «отрицание инаковости, которая сама по себе есть отрицание», – весьма удобный вывод, поскольку отрицание отрицания есть утверждение. Ошибка в этом рассуждении кажется мне очевидной. Есть огромная разница между «незамечанием» и «отрицанием», между «отрицанием всякой связи» с кем-либо и «отрицанием» его инаковости; и для человека со здравым рассудком есть значительное расстояние от теоретического «отрицания» до убийства, пыток и порабощения. Большая часть приведенных цитат взята из: Laing R. D., Cooper D. G. Reason and Violence: A Decade of Sartre's Philosophy, 1950–1960. London: Tavistock publications, 1964. Pt. 3. Это мне кажется допустимым, поскольку Сартр в предисловии говорит: «Я внимательно прочел труд, который вы мне посвятили, и к своему большому удовольствию нашел здесь очень ясный и верный очерк моего мышления».

Пафос и *élan* [порыв] новых левых, их, так сказать, чувствительность тесно связаны со зловещим самоубийственным развитием современных вооружений; это первое поколение, выросшее в тени атомной бомбы. От поколения родителей им достался опыт массивного вторжения уголовного насилия в политику: в школе и в университете они узнали о концлагерях и лагерях смерти, о геноциде и пытках¹⁸, о массовом военном истреблении гражданских лиц, без которого уже невозможны современные военные операции, пусть даже ограниченные «обычными» вооружениями. Их первой реакцией было отвращение от любой формы насилия, почти автоматическое присоединение к политике ненасилия. За очень крупными успехами этого движения, особенно в сфере гражданских прав, последовало движение протеста против войны во Вьетнаме, которое остается важным фактором, определяющим общественное мнение в этой стране [США]. Но отнюдь не секрет, что с тех пор положение изменилось, что теперь сторонники ненасилия перешли к обороне, и было бы пустословием заявлять, будто одни лишь «экстремисты» занимаются прославлением насилия и лишь они открыли (подобно алжирским крестьянам Фанона), что «только насилие результативно»¹⁹.

Новых воинствующих активистов клеймили как анархистов, нигилистов, красных фашистов, нацистов и (намного более обоснованно) как «луддитов»²⁰, а студенты отвечали столь же бессодержательными ярлыками – «полицейское государство» или «скрытый фашизм позднего капитализма» и (намного более обоснованно) «общество потребления»²¹.

¹⁸ Ноам Хомский верно указывает в числе мотивов к открытому бунту отказ «занимать место рядом с „честными немцами“, которых мы все выучились презирать» (*Chomsky N.* Op. cit. P. 368).

¹⁹ *Fanon F.* *The Wretched of the Earth* [1961]. New York: Grove Press, 1968. P. 61. Я использую эту работу из-за ее большого влияния на нынешнее поколение студентов. Однако сам Фанон относится к насилию с намного большим скепсисом, чем его поклонники. Похоже на то, что массовый читатель прочел только первую главу этой книги – «Относительно насилия». Фанон знает о «безраздельной и тотальной жестокости, которая, если ее немедленно не подавить, неизменно ведет к поражению движения в течение нескольких недель» (*Ibid.* P. 147). Относительно недавней эскалации насилия в студенческом движении см. поучительный цикл статей «Gewalt» в немецком еженедельнике *Der Spiegel* (1969. February 10 и далее); в том же журнале см. цикл статей «Mit dem Latein am Ende» (*Ibid.* 1969. № 26–27).

²⁰ Они действительно образуют пеструю смесь. Радикальные студенты легко сходятся с отчисленными студентами, хиппи, наркоманами и психопатами. Ситуация еще больше осложняется из-за того, что власти не учитывают различий – часто весьма тонких – между преступлением и несоблюдением правил, а эти различия весьма важны. Сидячая забастовка и захват здания – это не то же самое, что поджог или вооруженный мятеж, и различие здесь не чисто количественное. (Вопреки мнению одного из членов совета попечителей Гарвардского университета, захват университетского здания студентами – это не то же самое, что вторжение уличной толпы в отделение Первого национального банка, по той простой причине, что студенты вторгаются на территорию, использование которой, конечно, регулируется правилами, но к которой они сами принадлежат и которая им принадлежит точно также, как преподавателям и администрации.) Еще большую тревогу вызывает склонность преподавателей и администрации относиться к наркоманам и криминальным элементам (в Сити-колледже в Нью-Йорке и в Корнельском университете) намного мягче, чем к собственным бунтарям. Гельмут Шельски, немецкий социолог, еще в 1961 году описал (*Schelsky H.* *Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation.* Köln; Opladen, 1961) возможность «метафизического нигилизма», под которым он подразумевал радикальное общественное и духовное отрицание «всего процесса человеческого научно-технического воспроизводства», т. е. «нет», сказанное «возникающему миру научной цивилизации». Назвать такую позицию нигилистической значит принимать современный мир за мир единственно возможный. Протест молодых бунтарей касается именно этого пункта. Более того, вполне осмысленно было бы обвинить самих обвинителей и сказать, как это сделали Шелдон Уоллин и Джон Шаар: «В настоящее время главную угрозу составляет то, что правящие и респектабельные слои, кажется, готовы подписаться под самым нигилистическим отрицанием, какое только может быть, т. е. отрицанием будущего посредством отрицания собственных детей, носителей этого будущего» (*Wolin Sh., Shaar J.* Op. cit.). Натан Глейзер в статье «Студенческая власть в Беркли» пишет: «Студенты-радикалы... больше напоминают мне луддитов, разбивавших машины, чем членов социалистических профсоюзов, которые добивались для рабочих полноты гражданских прав и власти» (*Glazer N.* *Student Power in Berkeley//The Public Interest* (special issue «The Universities»). 1968. Fall), и из этого он делает вывод, что Збигнев Бжезинский (в статье о Колумбийском университете: *The New Republic.* 1968. June I), видимо, прав в своем диагнозе: «Весьма часто революции – это последние судороги прошлого, и потому на самом деле это не революции, а контрреволюции, происходящие под именем революций». Не кажется ли странным это пристрастие к движению вперед любой ценой у двух авторов, которые обычно считаются консервативными? И не кажется ли еще более странным то, что Глейзер не осознает решающих различий между фабричными машинами в Англии начала XIX века и техникой середины XX века, которая оказалась разрушительной даже в самом благодетельном облике – открытие ядерной энергии, автоматика, медицина, целебная сила которой привела к перенаселению, которое, в свою очередь, почти непременно приведет к массовому голоду, загрязнению воздуха и так далее?

²¹ Последний из этих эпитетов имел бы смысл, если бы понимался описательно (а не оценочно). Однако за ним стоит

Причиной их поведения объявлялись все виды социальных и психологических факторов: избыток попустительства при их воспитании в Америке и взрывная реакция на избыток авторитета в Германии и Японии, нехватка свободы в Восточной Европе и избыток свободы на Западе, катастрофическая нехватка рабочих мест для молодых социологов во Франции и сверхизобилие вакансий почти во всех областях деятельности в США. Все эти факторы кажутся достаточно убедительными на местном уровне, но наглядно опровергаются тем фактом, что студенческий бунт есть феномен глобальный. Об общем социальном знаменателе этого движения речи быть не может, но невозможно не признать, что психологически это поколение повсеместно отличается отвагой, поразительной волей к действию и не менее поразительной уверенностью в возможности перемен²². Однако эти качества не являются причинами [бунтов], и если спросить, что же на самом деле привело к этому – совершенно непредвиденному – развитию событий в университетах по всему миру, то было бы нелепо игнорировать самый очевидный и, возможно, самый влиятельный фактор, не имеющий к тому же ни прецедентов, ни аналогий, а именно тот простой факт, что технологический «прогресс» так часто ведет напрямик к катастрофе²³, что науки, преподаваемые этому поколению, кажется, не только не способны исправить катастрофические последствия собственных технологий, но и достигли в своем развитии такой стадии, когда «нельзя сделать практически

иллюзорная идея Маркса об обществе свободных производителей, об освобождении производительных общественных сил. На самом же деле такое освобождение осуществляется не с помощью революций, как думал Маркс, а с помощью науки и технологии. Более того, это освобождение оказалось не ускорено, а серьезно замедлено во всех странах, переживших революцию. Иначе говоря, за студенческим обличением потребления стоит идеализация производства, а вместе с ней – архаичное обожествление производительности и творчества. «Радость разрушения – это творческая радость» – это действительно так, если верить, что «радость труда» производительна; разрушение – это чуть ли не единственный оставшийся «труд», который можно совершить с помощью простых орудий и без помощи машин, хотя машины проделали бы эту работу, конечно, намного более эффективно.

²² Эта жажда действия особенно заметна в небольших по масштабу и сравнительно безбидных предприятиях. Студенты успешно выступили против руководства кампуса, которое платило обслуживающему персоналу кафе, зданий и территории университета меньше законного минимума. В число таких предприятий следует включить и решение студентов Беркли присоединиться к борьбе за превращение пустующего участка, принадлежащего университету, в «народный парк», хотя оно и привело к самой жесткой за все последнее время реакции со стороны властей. Судя по инциденту в Беркли, кажется, именно такие «неполитические» действия заставляют студенческую массу сплотиться вокруг радикального авангарда. «Во время студенческого референдума, на котором была достигнута самая большая явка в истории студенческого голосования, 85 % (из почти 15 тысяч) голосов было отдано за использование этого участка» как народного парка. См. превосходный репортаж: *Wolin Sh., Schaar J. Berkeley: The Battle of People's Park // New York Review of Books. 1969. June 19.*

²³ Искать прецеденты и аналогии там, где их попросту нет, и уклоняться от описания и обдумывания того, что сейчас говорится и делается, на языке самих современных событий под тем предлогом, что нам следует выучить уроки прошлого, особенно уроки периода между двумя мировыми войнами, стало характерной чертой очень многих современных дискуссий. Совершенно свободен от этой формы эскапизма блестящий и умный репортаж Стивена Спендера о студенческом движении, процитированный выше. Он принадлежит к тем очень немногочисленным представителям своего поколения, которые одновременно достаточно чутки к настоящему и достаточно хорошо помнят собственную молодость, чтобы сознать всю разницу между двумя эпохами в настроении, стиле, мышлении и действии («сегодняшние студенты совершенно не похожи на студентов Оксфорда, Кембриджа, Гарварда, Принстона или Гейдельберга сорок лет тому назад» [*Spender S. Op cit. P. 165*]). Но позицию Спендера разделяют вообще все те, кто действительно озабочен будущим мира и человека (к какому бы поколению они ни принадлежали), в отличие от тех, кто этим будущим играет. (Шелдон Уоллин и Джон Шаар говорят о «возрождении чувства общей судьбы», которое может связать разные поколения, о «нашем общем страхе, что созданное наукой оружие уничтожит все живое, что технология будет все сильнее уродовать живущих в городах людей, как уже осквернила землю и помрачила небо», что «прогресс индустрии уничтожит саму возможность интересной работы и что коммуникации сотрут последние следы разнообразных культур, которые были наследием всех обществ, кроме самых отсталых» [*Wolin Sh., Shaar J. Op. cit.*].) Кажется вполне естественным, что такую позицию чаще занимают физики и биологи, а не представители общественных наук, хотя студенты естественных факультетов не такие рьяные бунтари, как их товарищи гуманитарии. Так, Адольф Портманн, знаменитый швейцарский биолог, считает, что возрастной разрыв между поколениями имеет мало общего с конфликтом между молодыми и старыми – этот конфликт возникает с появлением ядерной науки: «в итоге возникло совершенно новое положение дел в мире... его нельзя сравнить даже с самой мощной революцией прошлого» (*Portmann A. Manipulation des Menschen als Schicksal und Bedrohung. Zürich: Verlag Die Arche, 1969*). И нобелевский лауреат Джордж Уолд из Гарварда в своей знаменитой речи в MIT 4 марта 1969 года справедливо подчеркнул, что преподаватели понимают «причины беспокойства студентов даже лучше, чем сами студенты», и, более того, это беспокойство разделяют (*Wald G. Op. cit.*).

ничего, что нельзя было бы превратить в войну»²⁴. (Разумеется, для сохранения университетов, которые, по словам сенатора Фулбрайта, предают общественное доверие, как только становятся зависимы от исследовательских проектов, финансируемых правительством²⁵, нет ничего важнее, нежели строго соблюдаемая отстраненность от имеющих военную направленность исследований и всех сопутствующих проектов; но было бы наивно надеяться, что такая отстраненность изменит природу современной науки или помешает военным усилиям, и так же наивно было бы отрицать, что ограничения, к которым приведет такая отстраненность, вполне могут иметь следствием снижение университетских стандартов²⁶. Единственное следствие, которого бы не возымела, скорее всего, такая отстраненность, – это полное прекращение федерального финансирования; поскольку, как недавно отметил Джером Леттвин из MIT, «правительство не может себе позволить не финансировать нас»²⁷ равно как и университеты не могут себе позволить отказ от федерального финансирования; но это значит всего лишь, что университеты «должны научиться фильтровать финансовую поддержку» (Генри Стил Коммаджер) – трудная, но не невыполнимая задача в свете огромного увеличения власти университетов в современном обществе.) Короче говоря, явно непреодолимое распространение техники и машин не просто угрожает некоторым классам безработицей – оно угрожает существованию целых стран и, возможно, всего человечества.

Вполне естественно, что новое поколение острее сознает возможность конца света, чем те, «кому за тридцать», не потому, что оно моложе, но потому, что [осознание этой возможности] стало для этого поколения первым формирующим переживанием. (То, что для

²⁴ Так считает Джером Леттвин из MIT; см.: New York Times Magazine. 1969. May 18.

²⁵ В современной политизации университетов (предмете справедливых сожалений) часто обвиняют бунтующих студентов, которые якобы нападают на университеты, поскольку те являются слабым звеном в цепи существующей власти. Совершенно справедливо, что университеты не выживут, если исчезнут «интеллектуальная беспристрастность и бескорыстный поиск истины», и, что еще хуже, вряд ли какое бы то ни было цивилизованное общество сумеет пережить исчезновение этих странных учреждений, главная общественная и политическая функция которых состоит именно в их беспристрастности и независимости от общественного давления и политической власти. Власть и истина, обе совершенно законные каждая в своей сфере, – это принципиально различные феномены, и выбор одной или другой в качестве жизненной цели приводит к экзистенциально различным жизненным путям. Збигнев Бжезинский в статье «Америка в технотронную эру» (*Brzezinski Z. America in the Technotronic Age // Encounter*. 1968. January) эту опасность видит, но либо смирился с ней, либо не так уж встревожен этой перспективой. Он полагает, что технотрония приведет к новой «сверхкультуре» под руководством новых «интеллектуалов, для которых центральными будут организационные и прикладные вопросы». (См. прежде всего недавний критический разбор Ноама Хомского «Объективность и либеральная наука»: *Chomsky N. Op. cit.*) На самом деле намного более вероятно, что эта новая порода интеллектуалов, прежде известных как технократы, приведет к эре тирании и предельного бесплодия. Как бы то ни было, остается фактом, что прежде, чем университеты были политизированы студенческим движением, они были политизированы властями. Соответствующие факты слишком хорошо известны, чтобы их приводить, но стоит напомнить, что речь здесь не только о военных исследованиях. Генри Стил Коммаджер недавно подверг критике «университет в роли агентства по найму» (*The New Republic*. 1968. February 24). Действительно, «никакие усилия воображения не помогут представить химическую компанию „Дюп“, морскую пехоту или ЦРУ образовательными учреждениями» или организациями, имеющими целью поиск истины. Мэр Джон Линдсей поставил вопрос, имеет ли университет право называться «особенным общественным институтом, отрешенным от мирской корысти, если он спекулирует недвижимостью и помогает в разработке и оценке проектов для армии, участвующей во Вьетнамской войне» (*The Week in Review // New York Times*. 1969. May 4). Заявления, будто университет – это «мозг общества» или мозг властных структур, – это опасная самонадеянная чепуха, хотя бы потому, что общество не «организм» и тем более не безмозглый. Во избежание недоразумений: я целиком согласна со Стивеном Спендером, что будет ужасной глупостью, если студенты разгромят университеты (хотя только они действительно на это способны по той простой причине, что на их стороне численный перевес, а значит, реальная власть), поскольку кампусы – это не только их реальная, но и единственно возможная база. «Без университета не было бы и студентов» (*Spender S. Op. cit.* p. 22). Но университеты останутся базой студентов лишь до тех пор, пока они остаются единственным местом в обществе, где власть не имеет решающего голоса несмотря на все искажения и извращения этого принципа. В текущей ситуации есть опасность, что либо студенты, либо, как в случае Беркли, власти потеряют голову; если это случится, молодые бунтари попросту влетят лишнюю нить в то, что было справедливо названо «узор катастрофы» (профессор Ричард Э. Фолк из Принстона).

²⁶ Непрерывное перетекание фундаментальных исследований из университетов в промышленные лаборатории весьма значительно и подтверждает наш тезис.

²⁷ Ibid.

нас всего лишь «проблемы», «встроено в плоть и кровь молодежи»²⁸.) Если задать представителю этого поколения два простых вопроса: «Каким бы ты хотел видеть мир через пятьдесят лет?» и «Какой бы ты хотел видеть свою жизнь через пять лет?» – ответы чаще всего будут начинаться с оговорок: «при условии, что мир еще будет существовать» и «при условии, что я буду еще жив». По словам Джорджа Уолда, «мы столкнулись с поколением, которое отнюдь не уверено в том, что у него есть будущее»²⁹, поскольку будущее, как говорит Спендер, – это «бомба с часовым механизмом, спрятанная в настоящем». На часто задаваемый вопрос «кто они, люди нового поколения?» – хочется ответить: «те, кто слышит тиканье этого механизма». А на другой вопрос: «А кто же отвергает это поколение?» – можно было бы ответить: «те, кто не видит или отказываются видеть вещи как они есть».

Студенческий бунт – это глобальный феномен, но его проявления, конечно, сильно различаются от страны к стране, а часто и от университета к университету. Это особенно верно относительно практики насилия. Насилие остается по большей части вопросом чисто теоретическим и риторическим там, где столкновение поколений не сопровождается столкновением ощутимых групп интересов. Как известно, именно такое столкновение групп интересов имело место в Германии, где штатные преподаватели были заинтересованы в избытке студентов на лекциях и семинарах. В Америке студенческое движение проводило, по сути, ненасильственные демонстрации: захваты административных зданий, сидячие забастовки и так далее – и делалось всерьез радикальным лишь в ответ на вмешательство и жестокость полиции. Серьезное насилие вышло на сцену лишь с приходом в кампусы движения Black Power. Студенты-негры, большинство которых было принято не по академическим заслугам, представляли и организовывали себя как группу интересов, а именно как представителей черной общины. Интересы их заключались в снижении академических стандартов. Они были более осмотрительны, чем белые бунтовщики, но с самого начала (даже до инцидентов в Корнельском университете и Сити-колледже в Нью-Йорке) было ясно, что для них насилие – это вопрос не теоретический и не риторический. Более того, если студенческий бунт в западных странах нигде не может рассчитывать на народную поддержку за пределами университетов и, как правило, сталкивается с открытой враждебностью, едва лишь прибегнет к насильственным средствам, то за словесным или настоящим насилием черных студентов стоит крупное меньшинство негритянской общины³⁰. Действительно, черное насилие можно понять по аналогии с профсоюзным насилием, имевшим место в Америке на одно поколение раньше; и хотя, насколько мне известно, только Стоутон Линд провел эксплицитную аналогию между профсоюзными бунтами и студенческим бунтом³¹, кажется, что

²⁸ Spender S. The Year of the Young Rebels. New York, 1969. P. 179.

²⁹ New Yorker. 1969. March 22.

³⁰ Фред М. Хэчинджер в статье «Кризис кампуса» пишет: «Поскольку требования черных студентов обычно справедливы по существу, то к ним относятся с симпатией» (The Week in Review // New York Times. 1969. May 4). Для современного отношения к этим вопросам представляется характерным то, что «Манифест, обращенный к белым христианским церквям и к еврейским синагогам в США и ко всем остальным расистским учреждениям» Джеймса Формана хотя публично оглашался и распространялся, а потому безусловно являлся «новостью, пригодной для печати», оставался неопубликованным, пока New York Review of Books (1969. July 10) не напечатало его (опустив «Введение»). Разумеется, его содержание – это полубезграмотные фантазии, вряд ли высказанные всерьез. Однако это не просто шутка, и ни для кого не секрет, что сегодня негритянское сообщество охотно предается подобным фантазиям. Вполне понятно, что власти испуганы. Но нельзя ни понять, ни простить отсутствия у властей воображения. Разве не очевидно, что если мистер Форман и его сторонники не встретят никакого противодействия в более широком сообществе и тем более если их будут умиротворять небольшими выплатами, то им придется действительно приступить к осуществлению программы, в которую они сами, возможно, никогда не верили.

³¹ В письме в New York Times (1969. April 9) Линд упоминает только «ненасильственные протестные действия, такие как забастовки и сидячие забастовки», нарочно оставляя в стороне насильственные бунты рабочего класса в 20-е годы, и задает вопрос, почему «эта тактика, остававшаяся приемлемой на протяжении целого поколения в отношениях профсоюзов и администрации, отвергается, когда ее применяют студенты в кампусах? Когда профсоюзного активиста исключают из фабричного совета, его товарищи прерывают работу до тех пор, пока конфликт не будет улажен». Создается впечатле-

университетские власти – с их странной склонностью уступать скорее негритянским требованиям, даже откровенно глупым и возмутительным³², чем бескорыстным и обычно высокоморальным требованиям белых бунтовщиков, – также мыслят в этих категориях и чувствуют себя комфортнее, сталкиваясь с интересами в сопровождении насилия, чем когда речь идет о ненасильственной «демократии участия». Уступчивость университетских властей перед требованиями черных часто объясняют «чувством вины» белого сообщества; я считаю более вероятным объяснением то, что и преподавательский состав, и советы попечителей, и администрация полусознательно согласны с очевидной истиной из официального «Отчета о насилии в Америке»: «Сила и насилие могут с большей вероятностью оказаться успешными техниками социального контроля и внушения, когда за ними стоит широкая народная поддержка»³³.

У нового – неоспоримого – культа насилия в студенческом движении есть примечательная особенность. Если риторика новых активистов очевидно вдохновлена Фаном, то их теоретические аргументы не содержат обычно ничего, кроме мешанины из всевозможных марксистских обзоров. И это не может не поражать всякого, кто хоть когда-нибудь читал Маркса или Энгельса. Кто способен назвать марксистской идеологию, которая возлагает свои надежды на «бесклассовых бездельников», верит, что «в люмпен-пролетариате бунт найдет свой городской авангард», и надеется, что «путь народу озарят гангстеры»?³⁴ Сартр с его всегдашней словесной удачливостью нашел формулу для этой новой веры. «Насилие, – считает он теперь, опираясь на книгу Фанона, – подобно копью Ахилла, может лечить раны, им же нанесенные». Будь это правдой, месть стала бы панацеей от большинства наших недугов. Этот миф более абстрактен и дальше отстоит от реальности, чем миф Сореля о всеобщей забастовке. Он достоин худших риторических эксцессов самого Фанона – таких как «голод с достоинством лучше хлеба в рабстве». Чтобы опровергнуть это утверждение, не требуется ни истории, ни теории: его ложность очевидна самому поверхностному наблюдателю процессов, идущих в человеческом организме. Но если бы Фанон сказал, что хлеб с достоинством лучше пирожного в рабстве, то пропал бы риторический пуант.

Когда читаешь безответственные высокопарные заявления такого рода (а процитированные мною достаточно показательны за вычетом того, что Фанону лучше, нежели большинству подобных авторов, удастся сохранить контакт с реальностью) и рассматриваешь их в свете того, что мы знаем об истории бунтов и революций, то хочется не придавать им значения и объяснять их преходящим умонастроением или невежеством и благородными чувствами людей, которые столкнулись с беспрецедентными событиями и новшествами, не

ние, что Линд усвоил образ университета (к сожалению, нередкий среди попечителей и администраторов), согласно которому кампус принадлежит совету попечителей, который нанимает администрацию для управления своей собственностью, а администрация, в свою очередь, нанимает преподавателей в качестве служащих, которые должны обслуживать ее клиентов, т. е. студентов. Этому «образу» не соответствует никакая реальность. Какими бы острыми ни стали конфликты в академическом мире, речь не идет о столкновении интересов или о классовой борьбе.

³² Байард Растин, лидер негритянского движения за гражданские права, сказал все, что требуется по данному вопросу: руководители колледжа должны «прекратить капитуляцию перед глупыми требованиями негритянских студентов»; неправильно, если «чувство вины и мазохизм одной группы будет позволять другой части общества прибегать к оружию во имя справедливости»; черные студенты «страдают от шока интеграции» и ищут «легкого выхода из своих проблем»; на самом деле негритянские студенты нуждаются не в «курсах духовного развития», а в «коррективном обучении», которое бы им помогло «заниматься математикой и писать без ошибок» (цит. по: Daily News. 1969. April 28). Как много говорит о моральном и интеллектуальном состоянии общества тот факт, что потребовалось настоящее мужество для того, чтобы высказать по этим вопросам столь простые истины! Еще сильнее пугает та вполне вероятная перспектива, что через пять или десять лет «образование», заключающееся в преподавании суахили (возникший в XIX веке квазиязык, на котором говорили арабские караваны, перевозившие слоновую кость и рабов, гибридная смесь диалекта банту с огромным числом арабских заимствований; см.: Encyclopaedia Britannica. 1969. s. v.), африканской литературы и других несуществующих предметов будет истолковано как очередная уловка, посредством которой белые люди мешают неграм получать адекватное образование.

³³ См. отчет Национальной комиссии по выяснению причин и предотвращению насилия (New York Times. 1969. June 6).

³⁴ Fanon F. Op. cit. P. 69, 129, 130.

имея средств для их осмысления, и потому воскрешают те мысли и чувства, от которых Маркс надеялся избавить революцию раз и навсегда. Кто когда-нибудь сомневался в том, что жертвы насилия мечтают о насилии, что угнетенные мечтают о дне, когда они сами окажутся на месте угнетателей, что бедняки мечтают о богатствах богачей, что гонимые мечтают о том, чтобы сменить «роль дичи на роль охотника», и что последние мечтают о царстве, где «последние будут первыми, а первые последними»?³⁵ Суть дела, как понял Маркс, в том, что эти мечты никогда не сбываются³⁶. Редкость рабских бунтов и восстаний обездоленных и попранных общеизвестна; в немногих случаях, когда они все-таки происходили, это была именно та «безумная ярость», которая превращала эти мечтания во всеобщий кошмар. И ни разу, насколько мне известно, сила этих «вулканических» взрывов, не была, как думает Сартр, «равна оказываемому на них давлению». Отождествлять движения национального освобождения с подобными взрывами – значит предрекать их крах, не говоря уже о том факте, что их маловероятная победа привела бы к изменению не мира или системы, но только к смене лиц. Наконец, полагать, будто существует такая вещь, как «единство третьего мира», которому можно адресовать новый призыв эпохи деколонизации: «Жители всех неразвитых стран, объединяйтесь!» (Сартр), – значит воспроизводить худшие иллюзии Маркса в колоссально увеличенном масштабе и с намного меньшими основаниями. Третий мир – это не реальность, а идеология³⁷.

Остается вопрос, почему столь многие из новых проповедников насилия не осознают своего решительного расхождения с учением Карла Маркса или, говоря иными словами, почему они так упрямо цепляются за идеи и доктрины, которые не только были опровергнуты фактическим развитием, но явно несовместимы с их собственной политикой. Единственный позитивный политический лозунг, выдвинутый новым движением, – призыв к «демократии участия», нашедший отклик по всей планете и составляющий самый важный общий знаменатель бунтов на Востоке и на

Западе, – происходит из лучшего, что есть в революционной традиции, – из системы Советов, вечно терпящего поражение, но единственного подлинного результата всех революций начиная с XVIII века. Но никакой отсылки к этой цели ни на словах, ни по существу нельзя найти в учениях Маркса и Ленина, которые оба, напротив, стремились к обществу, в котором необходимость в публичном действии и в участии в публичных делах «отмерла

³⁵ Fanon F. Op. cit. P. 37ff., 53.

³⁶ Обращенный к церквям и синагогам манифест Джеймса Формана (одобренный Национальной черной конференцией по экономическому развитию), который я упоминала выше и о котором он сказал, что это «лишь начало репараций, причитающихся нам как народу, который эксплуатировали, унижали, оскорбляли, убивали и преследовали», читается как классический пример праздных мечтаний такого рода. Согласно Форману, «из законов революции следует, что самые угнетаемые совершат революцию, конечная цель которой состоит в том, чтобы мы добились руководства и полного контроля над всем, что есть в Соединенных Штатах. Прошло время, когда мы подчинялись, а белый мальчик руководил». Добиться такой перемены ролей можно, если «использовать все необходимые средства, включая использование силы и власти оружия, чтобы ниспровергнуть колонизатора». И когда он от имени черной общины (которая, разумеется, его не поддерживает) «объявляет войну», отказывается «делить власть с белыми» и требует, чтобы «белые люди в этой стране согласились признать руководящую роль черных», он в то же время призывает «всех христиан и евреев практиковать терпение, терпимость, понимание и ненасилие» в течение всего того периода, который пройдет до захвата власти черными, «пусть даже это случится через тысячу лет».

³⁷ Студенты, угодившие между двумя сверхдержавами и равно разочарованные Востоком и Западом, «неизбежно увлекаются некоей третьей идеологией – от Китая Мао Цзэдуна до Кубы Фиделя Кастро» (Spender S. Op. cit. P. 92). Их призывы к Мао, Кастро, Че Геваре и Хо Ши Мину подобны псевдорелигиозным заклинаниям, обращенным к спасителям из иного мира; они бы молились и на Тито, если бы Югославия была более отдаленной и труднодоступной. Иначе обстоит дело с движением Black Power; его идеологическая приверженность несуществующему «единству третьего мира» – это не просто романтическая чепуха. Они очевидно заинтересованы в дихотомии черных и белых; но и это конечно же чистейший эскапизм – бегство в мир мечты, в котором негры будут составлять подавляющее большинство мирового населения.

бы»³⁸ вместе с государством. Новое левое движение из-за своей странной робости в теоретических вопросах (составляющей примечательный контраст с его отвагой на практике) оставило этот лозунг на стадии декламации – его довольно непродуманно выдвигают как против западной представительной демократии, которая даже свою представительную функцию вот-вот уступит огромным партийным машинам, «представляющим» не членов партии, а ее функционеров, так и против восточных однопартийных бюрократий, которые участие исключают в принципе.

Еще более удивителен в этой странной верности прошлому тот факт, что новые левые очевидно не осознают, до какой степени моральный характер современного бунта (а этот характер сейчас повсеместно признан³⁹) не совместим с их марксистской риторикой. Действительно, самая поразительная черта этого движения – это его бескорыстие; Питер Стейнфельс в замечательной статье о «Французской революции 1968 года» в *Commonweal* (от 26 июля 1968-го) был совершенно прав, когда писал: «Подходящим покровителем для этой культурной революции мог бы стать Пеги с его презрением к мандаринам Сорбонны и с его формулой „либо социальная революция будет моральной, либо ее не будет“». Разумеется, любое революционное движение возглавляли люди бескорыстные, руководимые состраданием или страстью к справедливости, и это конечно же верно и по отношению к Марксу и Ленину. Но Маркс, как мы знаем, фактически наложил запрет на подобные «эмоции» (когда сегодняшний истеблишмент отвергает моральные доводы как «сентиментальность», он оказывается гораздо ближе к марксистской идеологии, чем бунтари) и решил проблему «бескорыстия» вождей с помощью следующей идеи: эти вожди составляют авангард человечества и воплощают фундаментальную потребность человеческой истории⁴⁰. И все же эти вожди должны были первым делом солидаризоваться с нетеоретическими, земными потребностями рабочего класса и отождествиться с ним – лишь это могло дать им прочную опору за пределами общества (*society*). И именно ее с самого начала не хватало современным бунтарям, и они так и не смогли ее найти несмотря на отчаянные поиски союзников за пределами университетов. Враждебность рабочих к бунтующим студентам во всех странах хорошо засвидетельствована⁴¹, а в США полный провал всякого сотрудничества бунтующих студен-

³⁸ Кажется, что в подобной непоследовательности можно упрекнуть и самих Маркса и Ленина. Разве Маркс не прославлял Парижскую коммуну 1871 года и разве Ленин не хотел отдать «всю власть советам»? Но для Маркса Коммуна была не более чем переходным органом революционного действия, «орудием ниспровержения тех экономических устоев, на которых зиждется... классовое господство» (*Marx K., Engels F. The Civil War in France // Marx K., Engels F. Selected Works. London, 1950. Vol. I. P. 474, 440 [Маркс К. Гражданская война во Франции // Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений: В 50 т. М., 1960. Т. 17. С. 346]*), и Энгельс верно отождествлял ее со столь же переходной «диктатурой пролетариата». Случай Ленина более сложный; однако именно Ленин выхолостил советы и отдал всю власть партии.

³⁹ «Их революционная идея, – утверждает Спендер, – это моральная страсть» (*Spender S. Op. cit. P. 114*). Ноам Хомский приводит факты: «Факт в том, что большинство из тысячи призывных карточек и других документов, возвращенных в Министерство юстиции к 20 октября 1967 года, поступило от людей, которые могли избежать военной службы, но решили разделить судьбу менее привилегированных» (*Chomsky N. Op. cit. P. 368*). То же самое верно относительно любых демонстраций против призыва в университетах и колледжах. Похожая ситуация сложилась и в других странах. *Der Spiegel*, например, описывает тяжелые и часто унижительные условия труда лаборантов в Германии: «В свете таких условий вызывает настоящее удивление то, что лаборанты не выступают в первых рядах радикалов» (1969. Juni 23. S. 58). Всюду одна и та же история: заинтересованные группы не присоединяются к бунтарям.

⁴⁰ Юрген Хабермас, один из самых думающих и разумных представителей общественной мысли Германии, – хороший пример того, с каким трудом марксисты или бывшие марксисты расстаются с любой частью доктрины своего учителя. В своей недавней работе «Техника и наука как „идеология“» Хабермас несколько раз повторяет, что «две ключевые категории марксистской теории, а именно классовая борьба и идеология, уже не могут применяться без учета обстоятельств» (*Habermas J. Technik und Wissenschaft als „Ideologie“. Frankfurt/Main, 1968 [Хабермас Ю. Техника и наука как „идеология“. М., 2007. С. 93]*) – Если сравнить эти пассажи с процитированной выше статьей А. Д. Сахарова, то станет ясно, насколько легче отказываться от устаревших теорий и лозунгов тем, кто рассматривает «капитализм» в свете катастрофических коммунистических экспериментов.

⁴¹ Чехословакия кажется исключением. Однако реформы, за которые студенты боролись в первых рядах, были поддержаны всей нацией, без всяких классовых различий. Говоря по-марксистски, тамошние (и, вероятно, всех восточноевропейских стран) студенты располагают не слишком малой, а слишком большой поддержкой общества (*community*), чтобы

тов с движением Black Power, принадлежащие к которому студенты прочнее укоренены в собственной общине и потому обладают более выигрышной переговорной позицией внутри университетов, стал самым горьким разочарованием для белых бунтарей. (Было ли разумно со стороны людей из Black Power отказываться от роли пролетариата для «бескорыстных» вождей другого цвета кожи – это другой вопрос.) А в Германии, колыбели молодежного движения, группа студентов предложила включить в свои ряды «все организованные молодежные группы»⁴². Нелепость этого предложения очевидна.

Не могу сказать определенно, каким в итоге окажется объяснение этой непоследовательности, но предполагаю, что глубинная причина того, что новые левые так хранят верность типичной для XIX века доктрине, как-то связана с идеей Прогресса, с нежеланием расстаться с той идеей, которая соединяла либерализм, социализм и коммунизм в «левое движение», но нигде не достигала такой степени убедительности и изощренности, какую мы находим в трудах Карла Маркса. (Непоследовательность всегда была ахиллесовой пятой либеральной мысли, которая сочетала неуклонную верность Прогрессу с не менее упорным отказом поклоняться Истории в марксистском или гелелевском понимании, которое одно только и способно идею Прогресса обосновать и оправдать.)

Идея, будто существует прогресс человечества как целого, до XVII века была неизвестна, среди *hommes des lettres* [литераторов] XVIII века превратилась практически в общее мнение, а в XIX сделалась почти универсально принятым догматом. Но первоначальную идею и ее финальную стадию разделяет решающее различие. XVII век (в этом отношении лучше всего представленный Паскалем и Фонтенелем) понимал прогресс как накопление знаний в течение веков, а для XVIII века это слово означало «воспитание человечества» (*Erziehung des Menschengeschlechts* Лессинга), цель которого совпадает с совершеннолетием человека. Прогресс не считался неограниченным, и даже бесклассовое общество Маркса, понятое как царство свободы, которое могло бы стать концом истории и которое часто интерпретируется как секуляризация христианской эсхатологии или иудейского мессианизма, еще несет на себе отпечаток века Просвещения. Однако начиная с XIX века все подобные ограничения исчезли. Теперь, говоря словами Прудона, движение стало «le fait primitif» [«изначальным фактом»] и «вечны только законы движения». У этого движения нет ни начала, ни конца: «Le mouvement est; voilà tout!» [«Движение есть – вот и всё!»]. А относительно человека можно сказать лишь одно: «Мы рождаемся способными к совершенствованию, но никогда не будем совершенны»⁴³. Заимствованная у Гегеля идея Маркса, будто всякое общество несет в себе зародыш своего преемника так же, как всякий живой организм несет в себе зародыш своего потомства, – это действительно не только самая остроумная, но также и единственно возможная концептуальная гарантия для вечной непрерывности исторического прогресса; а поскольку предполагается, что прогресс этот движется посредством столкновений антагонистических сил, то становится возможным интерпретировать любой «регресс» как необходимое, но временное отступление.

Разумеется, гарантия, в конечном счете основанная всего лишь на метафоре, – не самый прочный фундамент для построения доктрины, но эту черту марксизм, увы, разделяет со множеством других философских доктрин. Однако у него есть огромное преимущество, которое станет ясно, как только мы сравним его с другими концепциями истории, такими как «вечное возвращение», расцвет и упадок империй, случайная последовательность принципиально несвязанных событий, – все эти концепции можно подтвердить фактами и доказательствами, но ни одна из них не может гарантировать непрерывность линейного времени и

соответствовать марксистской схеме.

⁴² См. интервью с Кристофом Эманном: *Der Spiegel*. 1969. Februar 10.

⁴³ *Proudhon P.–J. Philosophie du progrès* [1853]. Paris, 1946. P. 27–30, 49; *Idem. De la justice* [1858]. Paris, 1930. Vol. I. P. 238. См. также: *Harbold W. H. Progressive Humanity: in the Philosophy of P.–J. Proudhon* // *Review of Politics*. 1969. January.

непрерывный исторический прогресс. А единственный конкурент марксизма в этой области – античная идея золотого века, лежащего в самом начале, – предполагает довольно неприятный вывод о непременном непрерывном упадке. Конечно, у той ободряющей идеи, что нам достаточно просто двигаться в будущее (а это мы в любом случае вынуждены делать), чтобы обрести лучший мир, есть и кое-какие грустные стороны. Имеется прежде всего тот простой факт, что всеобщее будущее человечества ничего не может предложить индивидуальной жизни, чье единственное достоверное будущее – это смерть. А если этого не учитывать и думать лишь в общих категориях, то имеется очевидный аргумент против прогресса, заключающийся в том, что, по словам Герцена, «человеческое развитие – это форма хронологической несправедливости, поскольку потомки могут пользоваться трудами предшественников, не платя ту же цену»⁴⁴, или, по словам Канта, «всегда удивляет то, что старшие поколения трудятся в поте лица как будто исключительно ради будущих поколений, а именно для того, чтобы подготовить им ступень, на которой можно было бы выше возводить здание, предначертанное природой, и чтобы только позднейшие поколения имели счастье жить в этом здании»⁴⁵.

Однако эти недостатки, на которые редко обращают внимание, вполне перевешиваются огромным преимуществом: прогресс не только объясняет прошлое, не разрывая временного континуума, но и может служить руководством для действия в направлении будущего. Именно это открыл Маркс, перевернув Гегеля с головы на ноги: он переменял направление взгляда историка: вместо того чтобы смотреть в прошлое, он теперь мог уверенно смотреть в будущее. Прогресс дает ответ на тревожный вопрос: а что нам теперь делать? Ответ на простейшем уровне гласит: давайте то, что у нас сейчас есть, разовьем во что-нибудь лучшее, большее и т. д. (Иррациональная, на первый взгляд, вера либералов в рост, столь характерная для всех сегодняшних политических и экономических теорий, связана именно с этой идеей.) На более сложном уровне, у левых, прогресс призывает нас развивать сегодняшние противоречия до заложенного в них синтеза. В обоих случаях нас уверяют, что ничего совершенно нового и полностью неожиданного случиться не может – ничего, кроме «необходимых» результатов того, что нам уже известно⁴⁶. Как утешительно, что, говоря словами Гегеля, «не получается никакого другого содержания, кроме того, которое было налицо уже раньше»⁴⁷.

Нет нужды напоминать, что весь наш опыт в текущем столетии, которое постоянно сталкивало нас с абсолютно неожиданными вещами, вопиющим образом противоречит этим идеям и доктринам, сама популярность которых, видимо, заключается в том, что они предлагают уютное – спекулятивное или псевдонаучное – убежище от реальности. Студенческий бунт, вдохновленный почти исключительно моральными соображениями, определенно входит в число абсолютно неожиданных событий этого столетия. Это поколение, воспитанное, подобно предыдущим, в разных – социальных и политических – изводах доктрины «своя рубашка ближе к телу», преподало нам урок относительно манипулирования – точнее, относительно его границ, – который нам не стоило бы забывать. Людью можно «манипулировать» посредством физического принуждения, пыток или голода, а их мнение можно произвольно формировать с помощью сознательно организованной дезинформации, но не

⁴⁴ Слова Александра Герцена цитируются [в обратном переводе с английского] по: *Berlin I. Introduction // Venturi F. Roots of Revolutions. New York, 1966.*

⁴⁵ *Kant I. Idea for a Universal History with Cosmopolitan Intent // The Philosophy of Kant. New York, Modern Library, 1949* [*Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Кант И. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1966. Т. 6. С. 10*].

⁴⁶ Превосходное обсуждение очевидных слабостей такой позиции см.: *Nisbet R. A. The Year 2000 and All That // Commentary. 1968. June*; раздраженные критические отклики см. в сентябрьском номере.

⁴⁷ *Hegel G. W. F. Op. cit. P. 100 ff. [Гегель Г. Ф. В. Лекции по истории философии. СПб., 1993. Кн. I. С. 329]*.

с помощью «25-го кадра», телевидения, рекламы или других психологических инструментов, допустимых в свободном обществе. К сожалению, опровержение теории посредством реальности всегда было занятием в лучшем случае долгим и рискованным. Приверженцы манипулирования – и те, кто излишне его боится, и те, кто возлагает на него надежды, – даже не замечают, что и сами становятся его жертвой. (Один из прекраснейших примеров того, как теории обнажают свою нелепость, имел место во время недавних событий вокруг Народного парка в Беркли. Когда полиция и национальная гвардия с ружьями, штыками наголо и слезоточивым газом, распыляемым с вертолетов, атаковала безоружных студентов, из которых мало кто «швырялся чем-либо опаснее бранных слов», некоторые гвардейцы открыто братались со своими «врагами», а один из них отбросил оружие и воскликнул: «Я больше не могу!» Почему же он это сделал? В нашем просвещенном веке его поступок может объясняться лишь безумием: «Его отправили на психиатрическое обследование и поставили диагноз „подавленная агрессия“»⁴⁸.)

Прогресс – конечно же более серьезный и более сложный товар с современной ярмарки суеверий⁴⁹. Иррациональная вера XIX века в неограниченный прогресс разделялась всеми главным образом благодаря поразительному развитию естественных наук, которые с начала современной эпохи действительно были «всеобщими» науками и потому могли рассчитывать на бесконечную задачу изучения бесконечной вселенной. Но то, что наука, пусть уже и не ограниченная конечностью Земли и ее природы, способна к бесконечному прогрессу, отнюдь не безусловно; а то, что строго научные исследования в гуманитарных науках, в так называемых *Geisteswissenschaften* [науках о духе], изучающих продукты человеческого духа, по определению должны иметь границы – это очевидно. Беспрестанные, бессмысленные требования оригинальных научных результатов в тех областях, где теперь возможна только эрудиция, приводят либо к незначительности результатов, к пресловутому знанию все большего и большего о все меньшем и меньшем, либо к развитию псевдонауки, фактически разрушающей свой предмет⁵⁰. Примечательно, что молодежный бунт в той мере, в какой его мотивы не были исключительно моральными или политическими, был прежде всего направлен против университетского культа наук, которые – как гуманитарные, так и естественные, хотя и по разным причинам, – оказались серьезно скомпрометированы в глазах студентов. И в самом деле, вполне невозможно, что и в тех и в других науках мы достигли поворотной стадии – стадии разрушительных последствий. Прогресс естественных наук не только перестал совпадать с прогрессом человечества (что бы это ни значило), но может даже привести к его – человечества – концу, равно как дальнейший прогресс гуманитарных наук может завершиться разрушением всего, что составляло для нас ценность этих наук. Иначе говоря, прогресс уже не может служить критерием, по которому мы оцениваем запущенные нами катастрофически быстрые процессы перемен.

Поскольку сейчас наша главная тема – насилие, я должна предостеречь против очень вероятного недоразумения. Когда мы смотрим на историю как на непрерывный хронологический процесс, прогресс которого неизбежен, то может показаться, что насилие в виде войн и революций – это единственное, что может этот процесс прервать. Если бы это было верно, если бы лишь практика насилия давала возможность прерывать автоматические процессы в

⁴⁸ Этот эпизод без комментариев изложен в статье: *Wolin Sh., Shaar J. Op. cit.* См. также: *Barnes P. An Outcry: Thoughts on Being Tear Gassed // Newsweek. 1969. June 2.*

⁴⁹ Спендер сообщает, что французские студенты во время майских событий в Париже «категорически отказывались от идеологии „продуктивности“ [rendement], „прогресса“ и так называемых псевдосил» (*Spender S. Op. cit. P. 45*). В Америке до этого еще не дошло. Мы по-прежнему слышим везде разговоры о «прогрессивных» и «реакционных» силах, о «прогрессивной» и «репрессивной» толерантности и т. п.

⁵⁰ Блестящие примеры этих не просто ненужных, но вредных течений см.: *Wilson E. The Fruits of the MLA. New York: New York Review, 1968.*

сфере человеческих дел, то проповедники насилия одержали бы важную победу (насколько мне известно, в теоретическом виде этот тезис никогда не формулировался, но мне кажется неоспоримым, что подрывная деятельность студентов в последние несколько лет фактически основана на этом убеждении). На самом же деле функция *всякого* действия – в отличие от *всего лишь поведения* – заключается в том, чтобы прерывать то, что иначе происходило бы автоматически и потому предсказуемо.

Глава вторая

На фоне вышеописанного положения дел я и хочу поставить вопрос о насилии в сфере политики. Это не просто; замечание Сореля шестидесятилетней давности: «Проблемы насилия по-прежнему остаются очень неясными»⁵¹ – сегодня не менее верно, чем тогда. Я уже говорила о всеобщем нежелании относиться к насилию как к самостоятельному феномену и теперь должна уточнить это утверждение. Обратившись к дискуссиям о феномене власти, мы обнаружим, что среди политических теоретиков от левых до правых существует консенсус относительно того, что насилие – не более чем самое яркое проявление власти. «Любая политика – это борьба за власть; предельный вид власти – это насилие», – сказал К. Райт Милз, вторя определению государства, которое дал Макс Вебер: «Государство, равно как и политические союзы, исторически ему предшествующие, есть отношение господства людей над людьми, опирающееся на легитимное (т. е. считающееся легитимным) насилие как средство»⁵². Это консенсус довольно странный, поскольку приравнивание политической власти и «организованного насилия» осмысленно, только если соглашаться с марксовым пониманием государства как орудия угнетения в руках правящего класса. Поэтому обратимся к авторам, которые не верят, что политический организм и его законы и учреждения – это всего лишь принудительная надстройка, вторичное проявление каких-то глубинных сил. Обратимся, например, к Бертрану де Жувенелю, чья книга «Власть» – наверное, самое признанное и во всяком случае самое интересное рассуждение на эту тему в недавнее время. «Война предстает перед тем, кто наблюдает развитие и последовательную смену эпох, как важнейшая деятельность государства»⁵³. Возникает естественный вопрос: не станет ли в таком случае конец войны концом государств? Не будет ли означать исчезновение насилия в отношениях между государствами конец власти (*power*)?

Ответ, видимо, будет зависеть от того, что мы понимаем под властью. А власть, по Жувенелю, – это инструмент господства (*rule*), каковое господство, как мы узнаем, обязано своим существованием «инстинкту доминирования (*domination*)»⁵⁴. Мы сразу же вспоминаем слова Сартра о насилии, когда читаем у Жувенеля, что «человек ощущает себя в большей мере человеком, когда он добивается признания, превращает других в орудия своей воли», и что это доставляет ему «несравненную радость»⁵⁵. А Вольтер говорил, что «власть заключается в том, чтобы заставить других действовать по моей воле»; власть наличествует всякий раз, когда у меня есть возможность «настоять на своей воле вопреки чужому сопротивлению», говорил Макс Вебер, напоминая о том определении, которое Клаузевиц дал войне, – это «акт насилия, принуждающий противника поступать по нашему желанию». Слово «власть», говорит нам Штраус-Хуле, означает «власть человека над человеком»⁵⁶. Вернемся к Жувенелю: «Приказывать и повиноваться – без этого нет Власти, а с этим все прочие

⁵¹ Sorel G. Introduction to the First Publication [1906] // Sorel G. Reflections on Violence. New York: Collier Books, 1961. P. 60.

⁵² Mills C. The Power Elite. New York, 1956. P. 171; см. параграф I книги М. Вебера «Политика как призвание и профессия» (1921) [Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 646]. Видимо, Вебер осознавал свое согласие с левыми по этому вопросу. В этом контексте он цитирует реплику Троцкого в Брест-Литовске: «Всякое государство основано на насилии» и добавляет: «это в самом деле так».

⁵³ Jouvenel B. de. Power: The Natural History of its Growth [1945]. London, 1952. P. 122 [Жувенель Б. де. Власть: Естественная история ее возрастания. М., 2010. С. 195].

⁵⁴ Ibid. P. 93 [Там же. С. 150].

⁵⁵ Ibid. P. по [Там же. С. 178].

⁵⁶ См.: Clausewitz K. von. On War [1832]. New York, 1943. Ch. 1; Strausz-Hupé R. Power and Community. New York, 1956. P. 4; в той же работе приводятся слова Макса Вебера: «Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstand durchzusetzen [Власть означает всякую возможность внутри какого-то социального отношения настоять на своей воле пусть даже вопреки чужому сопротивлению]».

атрибуты уже излишни... Вещь, без которой Власть невозможна, сущность Власти – Приказание»⁵⁷.

Но если сущность власти заключается в действенном приказании, то нет большей власти, чем та, которая держится на штыке, и тогда трудно было бы решить, «чем распоряжение, отданное полицейским, отличается от отданного бандитом». (Эту цитату я взяла из очень важной книги «Понятие государства» Александра Пассерена д'Антреве – единственного известного мне автора, который осознает важность различения между насилием и властью. «Мы должны решить, можно ли – и в каком смысле можно – различать „власть“ (*power*) и „силу“ (*force*), чтобы определить, как факт использования силы в соответствии с законом меняет само качество этой силы и предъявляет нам совершенно иную картину человеческих отношений, поскольку сила, по одному тому, что она ограничена, перестает быть силой». Но даже это различие, самое тонкое и продуманное во всей литературе предмета, не доходит до сути дела. Власть, по Пассерену д'Антреву, – это «ограниченная или институционализованная сила». Иначе говоря, если процитированные выше авторы определяют насилие как самое яркое проявление власти, Пассерен д'Антрев определяет власть как некое смягченное насилие. В конечном счете все сводится к тому же самому⁵⁸.) Неужели все – от самых правых до самых левых, от Бертрана де Жувенеля до Мао Цзэдуна – согласны в таком важном вопросе политической философии, как природа власти?

С точки зрения наших традиций политической мысли эти определения имеют много ценного. Они не только происходят из старого понятия абсолютной власти, сопровождавшего возникновение суверенного европейского национального государства, самыми ранними и до сих пор величайшими глашатаями которого были и остаются Жан Боден во Франции XVI века и Томас Гоббс в Англии XVII века; эти определения совпадают и с терминами, которые, начиная с Древней Греции, использовались для определения форм правления (*government*) как господства (*rule*) человека над человеком – одного или немногих в монархии и олигархии, лучших или многих в аристократии и демократии. Сегодня нам следовало бы добавить новейшую и, возможно, самую чудовищную форму такого господства (*dominion*) – бюрократию, или власть сложно сплетенной системы кабинетов, в которой никакие люди – ни один, ни лучшие, ни немногие, ни многие – не могут считаться ответственными и которую было бы правильно назвать господством (*rule*) Никого. (Если, в соответствии с традиционной политической мыслью, мы определяем тиранию как правительство (*government*), которое никому не подотчетно, то господство (*rule*) Никого, очевидно, оказывается самым тираническим из всех, поскольку при нем не остается ни одного человека, у которого можно было бы хотя бы потребовать ответа за содеянное. Именно такое положение дел, когда невозможно локализовать ответственность и идентифицировать врага, – одна из самых существенных причин современных бунтов и беспорядков по всему миру, их хаотичной природы и их опасной тенденции выходить из-под контроля и становиться бессмысленно агрессивными.)

⁵⁷ Я выбрала первые попавшиеся цитаты, поскольку в этом вопросе не имеет значения, к какому автору обращаться, – почти все говорят одно и то же. Лишь очень редко можно услышать голос, не поющий в унисон. Так, Р. М. Макайвер пишет: «Принудительная власть (*power*) – это отличительный признак государства, но не его сущность... Действительно, там нет государства, где нет подавляющей силы... Но применение силы не образует государства» (*McIver R. M. The Modern State. London, 1926. P. 222–225*). Насколько велика сила этой традиции, можно понять по попытке Руссо от нее уклониться. В поисках правительства, которое бы не господствовало (*government of no-rule*), он не нашел ничего лучше, чем «une forme d'association... par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même [некая форма ассоциации... посредством которой каждый, объединяясь со всеми, повинуетя, однако, лишь самому себе]». Акцент на повиновении, а значит и на повелевании, остается неизменным.

⁵⁸ Книга Александра Пассерена д'Антреве «Понятие государства» впервые вышла на итальянском в 1962 году. Позднейшее английское издание (*Passerin d'Entreves A. The Notion of the State: An Introduction to Political Theory. Oxford, 1967*) – не просто перевод, а окончательная редакция книги, подготовленная самим автором. Цитаты взяты со с. 64, 70, 105.

Более того, удивительным образом эта античная терминология оказалась подтверждена и подкреплена благодаря присоединению иудео-христианской традиции и ее «представления о законе как о повелении». Эта концепция не была изобретена «политическими реалистами», а была результатом намного более раннего, почти произвольного обобщения божественных «заповедей», согласно каковому обобщению «простое соотношение повеления и послушания» достаточно для определения сущности закона⁵⁹. Наконец, более современные научные и философские взгляды на природу человека дополнительно усилили эту правовую и политическую традицию. Многие недавние открытия врожденного инстинкта господства и врожденной агрессивности у человеческого вида сопровождались очень похожими философскими утверждениями. Согласно Джону Стюарту Миллю, «первый урок гражданственности [есть урок] повиновения», и он же говорит «о двух родах склонности (...) одна из которых – желание властвовать, другая – нежелание подчиняться чьей-либо власти»⁶⁰. Если бы мы доверяли нашему собственному опыту в этих вопросах, то мы знали бы, что инстинкт подчинения, горячее желание повиноваться и быть в подчинении (*ruled*) у какого-то сильного человека присутствует в человеческой психологии уж точно не меньше, чем воля к власти, и, возможно, имеет даже большее политическое значение. Старая пословица «умеешь подчиняться – сумеешь распоряжаться» (в том или ином варианте она, видимо, известна всем странам и всем эпохам⁶¹), возможно, приоткрывает психологическую истину – воля к власти и воля к подчинению взаимосвязаны. «Готовность подчиниться тирании» (если снова вспомнить Милля) отнюдь не всегда вызвана «крайней пассивностью». И наоборот, сильное нежелание повиноваться часто сопровождается столь же сильным нежеланием господствовать и повелевать. Если взглянуть на дело исторически, то античный институт рабовладельческого хозяйства с помощью психологии Милля объяснить было бы невозможно. Явная цель этого института заключалась в том, чтобы освободить граждан от бремени хозяйственных дел и позволить им вступить в публичную жизнь общины, в которой все равны; если бы и в самом деле не было ничего приятнее, чем повелевать и господствовать (*rule*), то хозяин ни за что не покинул бы свое домохозяйство.

Однако существует другая традиция и другая терминология – не менее древние и заслуженные. Когда город-государство Афины называет свою конституцию исономией или когда римляне называют свою форму правления *civitas*, они имеют в виду представление о власти и законе, которое не основано на отношениях приказа и повиновения и которое не отождествляет власть (*power*) и господство (*rule*) или закон и приказ. Именно к этим примерам обратились деятели революций XVIII века, когда, порывшись в античных архивах, установили такую форму правления – республику, в которой господство закона, опирающегося на власть народа, положило бы конец господству человека над человеком, которое они считали «формой правления, годной для рабов». Но и они, к сожалению, продолжали говорить о повиновении – на этот раз не людям, а закону; при этом на самом деле они имели в виду поддержку законов, на которые сообщество граждан дало свое согласие⁶². Подобная под-

⁵⁹ Passerin d'Entreves A. Op. cit. P. 129.

⁶⁰ Mill J. S. Considerations on Representative Government [1861]. Indianapolis: Bobbs-Merrill Library of Liberal Arts, 1958. P. 59, 65 [Милль Д. С. Рассуждения о представительном правлении. Челябинск, 2006. С. 61, 77, с изменениями].

⁶¹ Wallace J. M. Destiny His Choice: The Loyalism of Andrew Marvell. Cambridge: Cambridge University Press, 1968. P. 88–89. Этой ссылкой я обязана любезности Грегори Дежардена.

⁶² Санкции законов (не составляющие, впрочем, их сути) направлены против тех граждан, которые, не прекращая поддерживать законы в целом, хотят сделать исключение для себя лично; вор ожидает, что правительство будет защищать добытую им собственность. Отмечалось, что в самых ранних правовых системах санкции отсутствовали (см.: Jouvenel B. de. Op. cit. P. 276). Наказанием правонарушителю было изгнание или объявление вне закона; нарушая закон, преступник ставил себя вне общины, учрежденной этим законом. Пассерен д'Антрев (*Passerin d'Entreves A.* Op. cit. P. 128 ss.), рассуждая о «сложности закона, даже государственного закона», отмечал, что «существуют законы, которые являются не столько императивами, сколько директивами, которые не столько налагаются, сколько принимаются, и санкции которых могут

держка никогда не бывает беспрекословной и, с точки зрения гарантированности, никак не может сравниться с действительно «беспрекословным повиновением», которого можно добиться с помощью акта насилия, – тем повиновением, на которое может рассчитывать всякий преступник, когда отбирает у меня бумажник с помощью ножа или грабит банк с помощью пистолета. Институты страны наделяет властью именно народная поддержка, а эта поддержка – не что иное как продолжение того согласия, которое и создало эти законы. В условиях представительного правления предполагается, что народ господствует над теми, кто им управляет. Все политические институты – это проявления и овеществления власти; они костенеют и распадаются, как только их перестает поддерживать живительная власть народа. Именно это имел в виду Мэдисон, когда говорил, что «все правительства основаны на мнении» – тезис для разных форм монархии не менее истинный, чем для демократии. (Жувенель указывает, что «представление, что право большинства действует лишь при демократии, есть не что иное, как иллюзия. Король – один-единственный человек – скорее, чем какое-либо правительство, нуждается в широкой поддержке со стороны общества»⁶³. Даже тиран – единица, господствующая вопреки всем, – нуждается в помощниках в деле насилия, пусть их число будет и не велико.) Однако сила мнения, т. е. власть правительства, зависит от численности [тех, кто это мнение разделяет]: «[человеческий разум, подобно самому человеку, робок и осторожен, пока одинок, и обретает постоянство и уверенность] пропорционально числу тех, с кем объединен»⁶⁴, и потому, как открыл Монтескье, тирания – это самая насильственная и наименее полномочная из форм правления. Более того, одно из самых наглядных различий между властью и насилием состоит в том, что власть всегда нуждается в поддержке множества людей, тогда как насилие до определенного уровня может обходиться без такой поддержки, поскольку держится на орудиях (*implements*). Не ограниченное законами господство большинства, т. е. демократия без конституции, может быть весьма жестоким в подавлении прав меньшинств и весьма эффективным в заглушении протеста без всякого использования насилия. Но это не означает, что насилие и власть – одно и то же.

Предельная форма власти – это «все против одного», предельная форма насилия – это «один против всех». А последнее невозможно без инструментов. Поэтому очень неточно было бы утверждать (как часто делается), что ничтожное безоружное меньшинство с помощью насилия – криков, топота и так далее – успешно срывало лекции, в то время как подавляющее большинство голосовало за нормальную процедуру обучения. (Недавно в одном немецком университете был случай, когда на подобную странную победу притязал всего один-единственный «несогласный» среди нескольких сот студентов.) На самом же деле в подобных случаях происходит нечто намного более серьезное: большинство недвусмысленно отказывается использовать свою власть и «пересилить» смутьянов; университетские

обходиться без использования силы со стороны суверена». Такие законы он уподобил «правилам игры или уставу моего клуба или уставам церкви». Я подчиняюсь им, «потому что для меня, в отличие от других моих сограждан, эти правила имеют силу». Я полагаю, что сравнение закона с «имеющими силу правилами игры» можно развить и дальше. Ибо суть этих правил не в том, что я подчиняюсь им добровольно или теоретически признаю их имеющими силу, а в том, что на практике я не могу войти в игру, пока я им не подчиняюсь; мой мотив для принятия этих правил – это мое желание играть, а поскольку люди существуют лишь во множественном числе, мое желание играть тождественно моему желанию жить. Всякий человек, рождаясь, попадает в сообщество с уже существующими законами, которым он «повинуется» прежде всего потому, что у него нет другого способа вступить в великую мировую игру. Я могу захотеть изменить правила игры, подобно революционеру, или сделать для себя исключение, подобно преступнику, но отрицать эти правила в принципе будет не просто «неповиновением», но отказом вступить в человеческое сообщество. Обычная дилемма (либо закон имеет абсолютную силу и потому нуждается для своей легитимности в бессмертном божественном законодателе, либо закон – это просто приказ, за которым нет ничего, кроме монополии государства на насилие) – это заблуждение. «Все законы не столько императивы, сколько директивы». Они руководят человеческим взаимодействием, как правила руководят игрой. И окончательная гарантия того, что эти законы сохраняют силу, содержится в римской пословице *pacta sunt servanda* (договоры следует соблюдать).

⁶³ Jouvenel B. de. Op. cit. P. 98 [Жувенель Б. де. Указ. соч. С. 160, с изменениями].

⁶⁴ The Federalist. № 49.

занятия срываются, потому что никто не желает защищать статус-кво ничем, кроме поднятой в голосовании руки. Университеты столкнулись с «огромным негативным единством», о котором в другом контексте говорит Стивен Спендер. Все это доказывает лишь то, что меньшинство может обладать намного большей потенциальной властью, чем предполагают подсчеты голосов в опросах общественного мнения. Бездеятельно наблюдающее большинство, развлеченное перепалкой между профессором и студентом, на самом деле уже стало тайным союзником меньшинства. (Нужно только попробовать вообразить, что бы случилось, если бы один или несколько безоружных евреев в Германии накануне Гитлера попробовали бы сорвать лекцию профессора-антисемита, – и тогда станет ясна вся нелепость разговоров о крошечных «меньшинствах активистов».)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.